

Петербургская летопись — текст 2

из 2

Еще недавно я никак не мог себе представить петербургского жителя иначе как в халате, в колпаке, в плотно закупоренной комнате и с непременною обязанностию принимать что-нибудь через два часа по столовой ложке. Конечно, не всё же были больные. Иным болеть запрещали обязанности. Других отстаивала богатырская их натура. Но вот наконец сияет солнце, и эта новость бесспорно стоит всякой другой. Выздоровливающий колеблется; нерешительно снимает колпак, в раздумьи приводит в порядок наружность и наконец соглашается пойти походить, разумеется во всем вооружении, в фуфайке, в шубе, в галошах. Приятным изумлением поражает его теплота воздуха, какая-то праздничность уличной толпы, оглушающий шум экипажей по обнаженной мостовой. Наконец на Невском проспекте выздоравливающий глотает новую пыль! Сердце его начинает биться, и что-то вроде улыбки кривит его губы, доселе вопросительно и недоверчиво сжатые. Первая петербургская пыль после потопа грязи и чего-то очень мокрого в воздухе, конечно, не уступает в сладости древнему дыму отечественных очагов, и гуляющий, с лица которого спадает недоверчивость, решается наконец насладиться весною. Вообще в петербургском жителе, решающемся насладиться весною, есть что-то такое добродушное и наивное, что как-то нельзя не разделить его радости. Он даже, при встрече с приятелем, забывает свой обыденный вопрос:

что нового?

и заменяет его другим, гораздо более интересным: а каков денек?

А уж известно, что после погоды, особенно когда она дурная, самый обидный вопрос в Петербурге —

что нового?

Я часто замечал, что, когда два петербургских приятеля сойдутся где-нибудь между собою и, поприветствовав обоюдно друг друга, спросят в один голос — что нового?

— то какое-то пронзающее уныние слышится в их голосах, какой бы интонацией голоса ни начался разговор. Действительно, полная безнадежность налегла на этот петербургский вопрос. Но всего оскорбительнее то, что часто спрашивает человек совсем равнодушный, коренной петербуржец, знающий совершенно обычаи, знающий заранее, что ему ничего не ответят, что нет нового, что он уже, без малого или с

небольшим, тысячу раз предлагал этот вопрос, совершенно безуспешно и потому давно успокоился — но все-таки спрашивает, и как будто интересуется, как будто какое-то приличие заставляет его тоже участвовать в чем-то общественном и иметь публичные интересы. Но публичных интересов... то есть публичные интересы у нас есть, не спорим. Мы все пламенно любим отечество, любим наш родной Петербург, любим поиграть, коль случится: одним словом, много публичных интересов. Но у нас более в употреблении кружки.

Даже известно, что весь Петербург есть не что иное, как собрание огромного числа маленьких кружков, у которых у каждого свой устав, свое приличие, свой закон, своя логика и свой оракул. Это, некоторым образом, произведение нашего национального характера, который еще немного дичится общественной жизни и смотрит домой. К тому же для общественной жизни нужно искусство, нужно подготовить так много условий — одним словом, дома лучше. Тут натуральнее, не нужно искусства, покойнее. В кружке вам бойко ответят на вопрос — что нового?

Вопрос немедленно получает частный смысл, и вам отвечают или сплетнею, или зевком, или тем, от чего вы сами цинически и патриархально зевнете. В кружке можно самым безмятежным и сладостным образом дотянуть свою полезную жизнь, между зевком и сплетнею, до той самой эпохи, когда грипп или гнилая горячка посетит ваш домашний очаг и вы проститесь с ним стоически, равнодушно и в счастливом неведении того, как это всё было с вами доселе и для чего так всё было? Умрешь в потемках, в сумерки, в слезливый без просвету день, в полном недоумении о том, как же это всё так устроилось, что вот жил же (кажется, жил), достиг кой-чего, и вот теперь так почему-то непременно понадобилось оставить сей приятный и безмятежный мир и переселиться в лучший. В иных кружках, впрочем, сильно толкуют о деле; с жаром собирается несколько образованных и благонамеренных людей, с ожесточением изгоняются все невинные удовольствия, как-то сплетни и преферанс (разумеется, не в литературных кружках), и с непонятным увлечением толкуется об разных важных материях. Наконец потолковав, поговорив, решив несколько общепользных вопросов и убедив друг друга во всем, весь кружок впадает в какое-то раздражение, в какое-то неприятное расслабление. Наконец все друг на друга сердятся, говорится несколько резких истин, обнаруживается несколько резких и размашистых личностей и — кончается тем, что всё расплзается, успокоивается, набирается крепкого житейского разума и мало-помалу сбивается в кружки первого вышеописанного свойства. Оно, конечно, приятно так жить; но наконец станет

досадно, обидно досадно. Мне, например, потому досадно на наш патриархальный кружок, что в нем всегда образуется и выделяется один господин, самого несносного свойства. Этого господина вы очень хорошо знаете, господа. Имя ему легион. Это господин, имеющий доброе сердце и не имеющий ничего, кроме доброго сердца.

Как будто какая диковинка — иметь в наше время доброе сердце! Как будто, наконец, так нужно иметь его, это вечное доброе сердце! Этот господин, имеющий такое прекрасное качество, выступает в свет в полной уверенности, что его доброго сердца совершенно достанет ему, чтоб быть навсегда довольным и счастливым. Он так уверен в успехе, что пренебрег всяким другим средством, запасаясь в житейскую дорогу. Он, например, ни в чем не знает ни узды, ни удержу. У него всё нараспашку, всё откровенно.

Этот человек чрезвычайно склонен вдруг полюбить, подружиться и совершенно уверен, что все его тотчас же полюбят взаимно, собственно за один тот факт, что он всех полюбил. Его доброму сердцу никогда и не снилось, что мало полюбить горячо, что нужно еще обладать искусством заставить себя полюбить, без чего всё пропало, без чего жизнь не в жизнь, и его любящему сердцу, и тому несчастному, которого оно наивно избрало предметом своей неудержимой привязанности. Если этот человек заведет себе друга, то друг у него тотчас же обращается в домашнюю мебель, во что-то вроде плевательницы. Всё, всё, какая ни есть внутри дрянь, как говорит Гоголь, всё летит с языка в дружеское сердце. Друг обязан всё слушать и всему сочувствовать. Обманут ли этот господин в жизни, обманут ли любовницей, проигрался ли в карты, немедленно, как медведь, ломится он, непростенный, в дружескую душу и изливает в нее без удержу все свои пустяки, часто вовсе не замечая того, что у друга у самого лоб трещит от собственной заботы, что у него дети померли, что случилось несчастье с женой, что, наконец, он сам, этот господин с своим любящим сердцем, надоел как хрен своему другу и что, наконец, деликатным образом ему намекают о превосходной погоде, которою можно воспользоваться для немедленной одинокой прогулки. Полюбит ли он женщину, он оскорбит ее тысячу раз своим натуральным характером, прежде чем заметит это в своем любящем сердце; прежде чем заметит (если только он способен заметить), что эта женщина чахнет от любви его, что, наконец, ей гадко, противно быть с ним и что он отравил всё существование ее благодаря муромским наклонностям своего любящего сердца. Да! только в уединении, в углу, и более всего в

кружке, производится это прекрасное произведение природы, этот образец нашего сырого материала, как говорят американцы, на который не пошло ни капли искусства, в котором всё натурально, всё чистый самородок, без узды и без удержу. Забывает да и не подозревает такой человек в своей полной невинности, что жизнь — целое искусство, что жить значит сделать художественное произведение из самого себя; что только при обобщенных интересах, в сочувствии к массе общества и к ее прямым непосредственным требованиям, а не в дремоте, не в равнодушии, от которого распадается масса, не в уединении может отшлифоваться в драгоценный, в неподдельный блестящий алмаз его клад, его капитал, его доброе сердце!

Господи боже мой! Куда это девались старинные злодеи старинных мелодрам и романов, господа? Как это было приятно, когда они жили на свете! И потому приятно, что сейчас, тут же под боком, был самый добродетельный человек, который, наконец, защищал невинность и наказывал зло. Этот злодей, этот *tirano ingrato*,

так и рождался злодеем, совсем готовый по какому-то тайному и совершенно непонятному предопределению судьбы. В нем всё было олицетворением злодейства. Он был еще злодеем в чреве матери; мало того: предки его, вероятно предчувствуя его появление в мир, с намерением избирали фамилию,

совершенно соответствующую социальному положению будущего их потомка. И уж по одной фамилии вы слышали, что этот человек ходит с ножом и режет людей, так себе, ни за копейку режет, бог знает для чего. Как будто бы он был машиной, чтоб резать и жечь. Хорошо это было! По крайней мере понятно! А теперь бог знает об чем говорят сочинители. Теперь, вдруг, как-то так выходит, что самый добродетельный человек, да еще какой, самый неспособный к злодейству, вдруг выходит совершенным злодеем, да еще сам не замечая того. И что досадней всего, некому заметить того, некому того рассказать ему, и смотришь, он живет долго, почтенно и умирает наконец в таких почестях, в таком восхвалении, что завидно становится, часто искренно и нежно оплакиваемый, и что смешнее всего, оплакиваемый своею же жертвою. А несмотря на то, на свете иногда бывает столько благоразумия, что решительно не понимаешь, каким это образом могло оно всё между нас поместиться? Столько его наделано в досужий час, для счастья людей! Вот хоть бы, например, случай на днях: мой хороший знакомый, бывший доброжелатель и даже немножко покровитель мой, Юлиан Мастакович намерен жениться. Истинно сказать, трудно жениться в более благоразумных летах. Он еще не женился, ему еще три недели до свадьбы; но каждый вечер

надевает он свой белый жилет, парик, все регалии, покупает букет и конфеты и ездит нравиться Глафире Петровне, своей невесте, семнадцатилетней девушке, полной невинности и совершенного неведения зла. Одна уже мысль о последнем обстоятельстве наводит самую слоеную улыбочку на сахарные уста Юлиана Мастаковича. Нет, даже приятно жениться в подобных летах! По-моему, уж если всё говорить, даже неблагопристойно делать это в юношестве, то есть до тридцати пяти лет. Воробьиная страсть! А тут, когда человеку под пятьдесят, — оседлость, приличие, тон, округленность физическая и нравственная — хорошо, право хорошо! и какая идея! человек жил, долго жил, и наконец стяжал... И потому я был в совершенном недоумении, зачем это на днях Юлиан Мастакович ходил по вечеру в своем кабинете, заложа руки за спину, с таким тусклым и грязновато-кислым видом в лице, что если б в характере того чиновника, который сидел в углу того ж кабинета, пристроенный ко стопудовому спешному делу, было хоть что-нибудь пресного, то тотчас закисло бы, неминуемым образом, от одного взгляда его покровителя. Я только теперь понял, что это было такое. Мне бы даже не хотелось рассказывать; такое пустое, вздорное обстоятельство, которое и в расчет не придет благородно мыслящим людям. В Гороховой, в четвертом этаже на улицу, есть одна квартира. Я еще когда-то хотел нанять ее. Квартиру эту снимает теперь одна заседательша; то есть она была заседательшей, а теперь она вдова и очень хорошая молодая дама; вид ее очень приятен. Так вот Юлиан Мастакович всё терзался заботой, каким бы образом сделать так, чтобы, женившись, по-прежнему ездить, хотя и пореже, по вечерам к Софье Ивановне, с тем чтобы говорить с нею об ее деле в суде. Софья Ивановна вот уже два года, как подала одну просьбу, и ходатаем за нее Юлиан Мастакович, у которого очень доброе сердце. Оттого-то такие морщины и набегали на солидное чело его. Но наконец он надел свой белый жилет, взял букет и конфеты и с радостным видом Поехал к Глафире Петровне. «Бывает же такое счастье у человека, — думал я, — вспоминая о Юлиане Мастаковиче! Уже в цвете преклонных лет своих человек находит подругу, совершенно его понимающую, девушку семнадцати лет, невинную, образованную и только месяц вышедшую из пансиона. И будет жить человек, и проживет человек в довольстве и счастье!» Зависть взяла меня! На ту пору день был такой грязный и тусклый. Я шел по Сенной. Но я фельетонист, господа, я должен вам говорить об новостях самых свежих, самых животрепещущих — пришлось употребить этот старинный, почтенный эпитет, вероятно созданный в той надежде, что петербургский читатель так и затрепещет радостью от какой-нибудь животрепещущей новости, например, что Женни Линд

едет в Лондон. Да что

Женни Линд

петербургскому читателю! У него своего много такого... Но своего нет, господ, решительно нет. Я вот шел по Сенной да обдумывал, что бы такое написать. Тоска грызла меня. Было сырое туманное утро. Петербург встал злой и сердитый, как раздраженная светская дева, пожелтевшая со злости на вчерашний бал. Он был сердит с ног до головы. Дурно ль он выспался, разлилась ли в нем в ночь желчь в несоразмерном количестве, простудился ль он и захватил себе насморк, проигрался ль он с вечера как мальчишка в картишки до того, что пришлось на утро вставать с совершенно пустыми карманами, с досадой на дурных, балованных жен, на ленивцев-грубиянов детей, на небритую суровую ораву прислужников, на жидов-кредиторов, на негодяев советников, наветников и разных других наушников — трудно сказать; но только он сердился так, что грустно было смотреть на его сырые, огромные стены, на его мраморы, барельефы, статуи, колонны, которые как будто тоже сердились на дурную погоду, дрожали и едва сводили зуб об зуб от сырости, на обнаженный мокрый гранит тротуаров, как будто со зла растрескавшийся под ногами прохожих, и наконец, на самых прохожих, бледно-зеленых, суровых, что-то ужасно сердитых, большею частью красиво и тщательно выбритых и поспешавших туда и сюда исполнить обязанности. Весь горизонт петербургский смотрел так кисло, так кисло... Петербург дулся. Видно было, что ему страх как хотелось сосредоточить, как это водится в таких случаях у иных гневливых господ, всю тоскливую досаду свою на каком-нибудь подвернувшемся постороннем третьем лице, поссориться, расплеваться с кем-нибудь окончательно, распечь кого-нибудь на чем свет стоит, а потом уже и самому куда-нибудь убежать с места и ни за что не стоять более в Ингерманландском суровом болоте. Даже самое солнце, отлучавшееся на ночное время вследствие каких-то самых необходимых причин к антиподам и спешившее было с такою приветливою улыбкою, с такою роскошной любовью расцеловаться с своим больным, балованным детищем, остановилось на полдороге; с недоумением и с сожалением взглянуло на недовольного ворчуна, брюзгливого, чахлого ребенка и грустно закатилось за свинцовые тучи. Только один луч светлый и радостный, как будто выпросясь к людям, резво вылетел на миг из глубокой фиолетовой мглы, резво заиграл по крышам домов, мелькнул по мрачным, отсырелым стенам, раздробился на тысячу искр в каждой капле дождя и исчез, словно обидясь своим одиночеством, — исчез, как внезапный восторг, ненароком залетевший в скептическую славянскую душу, которого тотчас же и устыдится и не признает она. Тотчас же распространились в Петербурге самые скучные

сумерки. Бил час пополудни, и городские куранты, казалось, сами не могли взять в толк, по какому праву принуждают их бить такой час в такой темноте.

Тут мне встретилась погребальная процессия, и я тотчас в качестве фельетониста вспомнил, что грипп и горячка — почти современный петербургский вопрос. Это были пышные похороны. Герой всего поезда, в богатом гробе, торжественно и чинно, ногами вперед отправлялся на самую удобную в свете квартиру. Длинный ряд капуцинов, ломая пудовыми сапогами рассыпанный ельник, чадил смолой на всю улицу. Шляпа с плюмажем, помещенная на гробе, этикетно гласила прохожим о чине сановника. Регалии текли вслед за ним на подушках. Возле гроба плакал навзрыд неутешный, уже весь поседевший полковник, должно быть зять умершего, может быть и двоюродный брат. В длинном ряду карет мелькали, как водится, натянуто-траурные лица, шипела неумирающая сплетня и весело смеялись дети в белых плёрезах. Мне стало как-то тоскливо, досадно, и я, которому распекаль совершенно некого, с самою распекающею миною и даже с глубоко обиженным видом приветствовал любезность одного флегматически-разбитого, на все четыре ноги, коня, стоявшего смирно в ряду, уже давно дожевавшего последний клоч сена, украденный с соседнего воза, и решившегося от нечего делать состричь, то есть выбрать самого сурового и занятого прохожего (за которого он, вероятно, принял меня), легонько ухватить за воротник или рукав, потянуть к себе, и потом, как будто ни в чем ни бывало, показать мне, вздрогнувшему и вспрыгнувшему от тоскливой утренней думы, свою добродетельную и бородатую морду. Бедная кляча! Я пришел домой и расположился было писать мою летопись, но, сам не зная как, раскрыл журнал и начал читать одну повесть.

В этой повести описывалось одно московское семейство среднего, темного круга. Там толковалось тоже и про любовь, но про любовь я не люблю читать, господа, не знаю как вы. И я как будто перенесся в Москву, в далекую родину. Если вы не читали этой повести, господа, то прочтите ее. Что же в самом деле, что же такого сказать вам нового, лучшего? Что на Невском проспекте процветают новые омнибусы, что Нева занимала всех всю неделю, что в салонах еще продолжают зевать, в положенные дни, с нетерпением ожидая лета. Это, что ли? Но вам это уже давно наскучило самим, господа. Вы вот прочли описание одного северного утра. Не правда ли; ведь довольно тоски? Так прочтите в ненастный час, в такое же ненастное утро, эту повесть об маленьком московском семействе и об разбитом фамильном зеркале. Я как будто видел еще в моем детстве эту бедную Анну Ивановну, мать семейства, да и Ивана Кирилыча знаю. Иван Кириллович добрый человек, только под веселый час, под куражом, любит разные шуточки. Вот, например, жена его

больная и всё смерти боится. А он при людях начнет смеяться и стороною, для шутки, речь заводит, как он в другой раз женится, когда овдовеет. Жена крепится, крепится, засмеется, с натуги, что делать, такой уж характер у мужа. Вот разбился чайник; правда, денег стоит; но при людях все-таки совестно, когда муж начнет стыдить и попрекать за неловкость. Вот настала и масленица. Ивана Кирилловича не было дома. Собралось на вечер, как будто украдкой, много молодых подружек к старшей дочери Оленьке. Тут было тоже много молодых мужчин, были такие резвые дети; был еще один Павел Лукич, который так и просится в роман Вальтер Скотта. Взбаламутил всех этот Павел Лукич и затеял в жмурки играть. Как будто предчувствовала больная Анна Ивановна; но увлеченная общим желанием разрешила жмурки. Ах, господа, точно пятнадцать лет назад, когда я сам играл в жмурки! Что за игра! И этот Павел Лукич! Недаром Сашенька, черноглазая Оленькина подружка, шепчет, прижимаясь к стене, и дрожа от ожидания, что она пропала. Так страшен Павел Лукич, а он с завязанными глазами. Случилось так, что меньшие дети забились в угол под стул и зашумели у зеркала; Павел Лукич ринулся на шум, зеркало покачнулось, сорвалось с ржавых петель, через его голову полетело на пол и разбилось вдребезги. Ну! когда я читал, как будто я разбил это зеркало! будто я был во всем виноват. Анна Ивановна побледнела; все разбежались, на всех напал панический страх. Что-то будет? Я с нетерпением и страхом ожидал прихода Ивана Кирилловича. Я думал об Анне Ивановне. Вот в полночь он возвратился хмельной. Навстречу ему на крыльцо вышла змея-наушница бабушка, московский старинный тип, и что-то нашептала, вероятно о приключившемся несчастии.

Сердце мое начало биться, и вдруг гроза началась, сначала с шумом и громом, потом стихая, стихая; я услышал голос Анны Ивановны, что-то будет? Через три дня она лежала в постели, через месяц умерла в злой чахотке. Так как же так, от разбитого зеркала? Да разве это возможно? Да; а однако ж, она умерла. Какая-то диккенсовская прелесть разлита в описании последних минут этой тихой, безвестной жизни!

Хорош и Иван Кириллович. Он почти с ума сошел. Он сам бегал в аптеку, ссорился с доктором и всё плакал о том, на кого это жена его оставляет! Да, много припомнилось. В Петербурге тоже очень много таких семейств. Я лично знал одного Ивана Кирилловича. Да и везде их довольно. Я к тому заговорил, господа, об этой повести, что сам намерен был вам рассказать одну повесть... Но до другого разу. А кстати, о литературе. Мы слышали, что многие очень довольны зимним литературным сезоном. Крику не было, особенной бойкости и споров зуб за зуб тоже; хотя явилось несколько новых газет и журналов. Всё

как-то делается серьезнее, строже; во всем более стройности, зрелости, обдуманности и согласия. Правда, книга Гоголя наделала много шуму в начале зимы. Особенно замечателен единодушный отзыв о ней почти всех газет и журналов, постоянно противоречащих друг другу в своем направлении.

Виноват, забыл главное. Всё время, как рассказывал, помнил, да вышло из памяти. Эрнст дает еще концерт; сбор будет в пользу Общества посещения бедных и Германского благотворительного общества. Мы и не говорим, что театр будет полон, мы в этом уверены.

Знаете ли, господа, сколько значит, в обширной столице нашей, человек, всегда имеющий у себя в запасе какую-нибудь новость, еще никому не известную, и сверх того обладающий талантом приятно ее рассказать? По-моему, он почти великий человек; и уж бесспорно, иметь в запасе новость лучше, чем иметь капитал. Когда петербуржец узнает какую-нибудь редкую новость и летит рассказать ее, то заранее чувствует какое-то духовное сладострастие; голос его ослаб и дрожит от удовольствия; и сердце его как будто купается в розовом масле. Он, в эту минуту, покамест еще не сообщил своей новости, покамест стремится к приятелям через Невский проспект, разом освобождается от всех своих неприятностей; даже (по наблюдениям) излечивается от самых закоренелых болезней, даже с удовольствием прощает врагам своим. Он пресмирен и велик. А отчего? Оттого, что петербургский человек в такую торжественную минуту познает всё достоинство, всю важность свою и воздает себе справедливость. Мало того. Я, да и вы, господа, вероятно, знаем много господ, которых (если б только не настоящие хлопотливые обстоятельства) уж ни за что не пустили бы вы в другой раз в переднюю, в гости к своему камердинеру. Скверно! Господин сам понимает, что он виноват, и очень похож на собачонку, которая опустила хвост и уши и ждет обстоятельств. И вдруг настает минута; этот же самый господин звонит к вам бодро и самодовольно, проходит мимо удивленного лакея, непринужденно и с сияющим лицом подает вам руку, и вы узнаете тотчас, что он имеет полное право на то, что есть новость, сплетня или что-нибудь очень приятное; не смел же бы войти к вам без такого обстоятельства такой господин. И вы не без удовольствия слушаете, хотя, может быть, совсем не похожи на ту почтенную светскую даму, которая не любила никаких новостей, но с приятностию выслушала анекдот, как жена, учившая детей по-английски, высекла мужа.

*

Сплетня вкусна, господа! Я часто думал: что, если б явился у нас в Петербурге такой талант, который бы открыл что-нибудь такое новое для приятности общежития, чего не бывало еще ни в каком государстве, — то, право не знаю, до каких бы денег дошел такой человек. Но мы всё пробиваемся на наших доморощенных любителей, прихлебателях и забавниках. Есть мастера! Чудо как это создана человеческая натура! Вдруг, и ведь вовсе не из подлости, человек делается не человеком, а мошкой, самой простой маленькой мошкой. Лицо его переменяется и покрывается влагой не влагой, а каким-то особенным сияющим колоритом. Рост его делается вдруг не в пример ниже вашего. Самостоятельность совершенно уничтожается. Он смотрит вам в глаза ни дать ни взять, как мопка, ожидающая подачи. Мало того, несмотря на то, что на нем превосходнейший фрак, он, в припадке общежития, ложится на пол, бьет радостно хвостиком, визжит, лижется, не ест подачку до слова: есть,

гнушается жидовским хлебом и, что смешнее всего, что приятнее всего, нисколько не теряет достоинства. Он сохраняет его, свято и неприкосновенно, даже в вашем собственном убеждении, и всё это происходит натуральнейшим образом. Вы, конечно, Регул честности, по крайней мере Аристид, одним словом, умрете за правду. Вы видите насквозь своего человечка. Человечек, с своей стороны, убеждает, что он совершенно сквозит; — а дело идет как по маслу, и вам хорошо, и человечек не теряет достоинства. Дело в том, что он хвалит вас, господа. Оно, конечно, не хорошо, что вас хвалит в глаза; это досадно, это гадко; но наконец вы замечаете, что человек умно хвалит, что именно указывает на то, что вам самим очень нравится в вашей особе.

Следовательно, есть ум, есть такт, есть даже чувство, есть сердцеведение; ибо признает он в вас даже и то, в чем, может быть, свет отказывает вам, разумеется несправедливо, по зависти. Почем знать, говорите вы наконец, может быть, он не льстец, а так только, слишком наивен и искренен; к чему, наконец, с первого разу отвергать человека? — И такой человек получает всё, что хотелось ему получить, как тот жидок, который молит пана, чтоб он не купил его товару, нет! Зачем покупать? — Чтоб пан только взглянул в его узелок для того хоть, чтоб только поплевать на жидовский товар и уехать бы далее. Жид развертывает, и пан покупает всё, что жидку продать захотелось. И опять-таки вовсе не из подлости действует столичный наш человечек. Зачем громкие слова! Вовсе не низкая душа; — душа умная, душа милая, душа общества, душа, желающая получить, ищущая душа, светская душа, правда, немного вперед забегающая, но все-таки душа, — не скажу как у всех, как у многих. И потому еще это всё так хорошо, что без нее, без такой души, все бы умерли с тоски или загрызли друг друга. Двуличие, изнанка, маска —

скверное дело, согласен, но если б в настоящий момент все бы явились, как они есть на лицо, то, ей-богу, было бы хуже.

И все эти полезные размышления пришли мне на ум в то самое время, когда Петербург вышел в Летний сад и на Невский проспект показать свои новые весенние костюмы.

Боже! об одних встречах на Невском проспекте можно написать целую книгу. Но вы так хорошо знаете обо всем этом по приятному опыту, господи, что книги, по-моему, не нужно писать. Мне пришла другая идея: именно то, что в Петербурге ужасно мотают. Любопытно знать, много ли таких в Петербурге, которым на всё достаёт, то есть людей, как говорится, совершенно достаточных? Не знаю, прав ли я, но я всегда воображал себе Петербург (если позволят сравнение) младшим, балованным сыном почтенного папеньки, человека старинного времени, богатого, тароватого, рассудительного и весьма добродушного. Папенька наконец отказался от дел, поселился в деревне и рад-рад, что может в своей глуши носить свой нанковый сюртук без нарушения приличия. Но сынок отдан в люди, сынок должен учиться всем наукам, сынок должен быть молодым европейцем, и папенька, хотя только по слухам слышавший о просвещении, непременно хочет, чтобы сынок его был самый просвещенный молодой человек. Сынок немедленно схватывает верхи, пускается в жизнь, заводит европейский костюм, заводит усы, эспаньолку, и папенька, вовсе не замечая того, что у сынка в то же самое время заводится голова, заводится опытность, заводится самостоятельность, что он, так или не так, хочет жить сам собою и в двадцать лет узнал даже на опыте более, нежели тот, живя в прадедовских обычаях, узнал во всю свою жизнь; в ужасе видя одну эспаньолку, видя, что сынок без счету загребаёт в родительском широком кармане, заметя наконец, что сынок немного раскольник и себе на уме, — ворчит, сердится, обвиняет и просвещение и Запад и, главное, досадует на то, что «курицу начинают учить ее ж яйца». Но сынку нужно жить, и он так заспешил, что над молодой прытью его невольно задумаешься. Конечно, он мотает довольно резво.

Вот, например, кончился зимний сезон, и Петербург, по крайней мере по календарю, принадлежит весне. Длинные столбцы газет начинают наполняться именами уезжающих за границу. К удивлению своему, вы тотчас замечаете, что Петербург гораздо более расстроен здоровьем, чем карманом. Признаюсь, когда я сравнил эти два расстройства, на меня напал панический страх до того, что я начал воображать себя не в столице, а в лазарете. Но я тотчас рассудил, что беспокоюсь напрасно и что кошелек провинциала-папеньки еще довольно туг и широк.

Вы увидите, с каким неслыханным великолепием заселятся дачи, какие непостижимые костюмы запестреют в березовых рощицах и как все будут довольны и счастливы. Я даже совершенно уверен, что и бедный человек сделается немедленно доволен и счастлив, смотря на общую радость. По крайней мере увидит даром такое, чего ни за какие деньги не увидишь ни в каком городе нашего обширного государства.

А кстати, о бедном человеке. Нам кажется, что из всех возможных бедностей самая гадкая, самая отвратительная, неблагородная, низкая и грязная бедность — светская, хотя она очень редка, та бедность, которая промотала последнюю копейку, но по обязанности разъезжает в каретах, брызжет грязью на пешехода, честным трудом добывающего себе хлеб в поте лица, и, несмотря ни на что, имеет служителей в белых галстуках и в белых перчатках. Это нищета, стыдящаяся просить милостыню, но не стыдящаяся брать ее самым наглым и бессовестным образом. Но довольно об этой грязи! Мы искренно желаем петербуржцам веселиться на дачах и поменьше зевать. Уж известно, что зевота в Петербурге такая же болезнь, как грипп, как геморрой, как горячка, болезнь, от которой еще долго не освободятся у нас никакими лечениями, ни даже петербургскими модными лечениями. Петербург встает зевая, зевая исполняет обязанности, зевая отходит ко сну. Но всего более зевает он в своих маскарадах и в опере. Опера между тем у нас в совершенстве. Голоса дивных певцов до того звучны и чисты, что уже начинают приятно отзываться по всему пространному государству нашему, по всем городам, городкам, весям и селам. Уже всякий познал, что в Петербурге есть опера, и всякий завидует. А между тем Петербург все-таки немножко скучает, и под конец зимы опера ему становится так же скучна, как... ну, как например последний зимний концерт. Последнего замечания несколько нельзя относить к концерту Эрнста, данного с прекрасной филантропической целью. Случилась странная история: в театре сделалась такая страшная давка, что многие, спасая жизнь свою, решились прогуляться в Летнем саду, который на ту пору как нарочно в первый раз открылся для публики, и потому концерт вышел как будто немного пустенек. Но это произошло не более как от недоразумения. Кружка для бедных наполнилась. Мы слышали, что многие прислали свои вклады, и не приехали сами, собственно боясь страшной давки. Страх совершенно естественный.

Вы не можете себе представить, господа, какая приятная обязанность говорить с вами о петербургских новостях и писать для вас петербургскую летопись! Скажу более: это даже не обязанность, а высочайшее удовольствие. Не знаю, поймете ли вы всю мою радость. Но, право, преприятно этак собраться, посидеть и потолковать об общественных интересах. Я даже иногда

готов запеть от радости, когда вхожу в общество и вижу преблаговоспитанных, солидных людей, которые собрались, сидят и чинно толкуют о чем-нибудь, в то же время нисколько не теряя своего достоинства. Об чем толкуют, это второй вопрос, я даже иногда забываю вникнуть в общую речь, совершенно удовлетворяясь одной картиной, приличною общежитию. Сердце мое наполняется самым почтительным восторгом.

Но вникнуть в смысл, в
содержание

того, об чем у нас говорят общественные светские люди, люди —
не кружок,

я как-то до сих пор не успел. Бог знает, что это такое! Конечно, бесспорно что-нибудь неизъяснимо прелестное, затем что всё это такие солидные и милые люди, но всё как будто непонятно. Всё кажется, как будто начинается разговор, как будто настраиваются инструменты; часа два сидишь, и всё начинают. Слышится иногда, что все будто говорят о каких-то серьезных предметах, о предметах, вызывающих на размышление; но потом, когда вы спросите себя, об чем говорили, то никак не узнаете об чем именно: о перчатках ли, об сельском ли хозяйстве, или о том, «продолжительна ли женская любовь»? Так что признаюсь, иногда как будто нападает тоска. Похоже на то, когда бы вы, например, шли в темный вечер домой, бездумно и уныло посматривая по сторонам, и вдруг слышите музыку. Бал, точно бал! В ярко освещенных окнах мелькают тени, слышится шелест и шарканье, как будто слышен соблазнительный бальный шепот, гудит солидный контрабас, визжит скрипка, толпа, освещение, у подъезда жандармы, вы проходите мимо, развлеченный, взволнованный; в вас пробудилось желание чего-то, стремление. Вы всё будто слышали жизнь, а между тем вы уносите с собой один бледный, бесцветный мотив ее, идею, тень, почти ничего. И проходишь, как будто не доверяя чему-то; слышится что-то другое, слышится, что сквозь бесцветный мотив обыденной жизни нашей звучит другой, пронзительно живучий и грустный, как в Берлиозовом бале у Капулетов. Тоска и сомнение грызут и надрывают сердце, как та тоска, которая лежит в безбрежном долгом напеве русской унылой песни, и звучит родным, призывающим звуком:

Прислушайтесь... звучат иные звуки...

Унынье и отчаянный разгул...

Разбойник ли там песню затянул,

Иль дева плачет в грустный час разлуки?

Нет, то идут с работы косари...

Кто ж песнь сложил им? как кто? посмотри

Кругом: леса, саратовские степи...

На днях был семик. Это народный русский праздник. Им народ встречает весну, и по всей безбрежной русской земле завивают венки. Но в Петербурге погода была холодна и мертва. Шел снег, березки не распустились, к тому же град побил накануне древесные почки. День был ужасно похож на ноябрьский, когда ждут первого снега, когда бурлит надувшаяся от ветру Нева и ветер с визгом и свистом расхаживает по улицам, скрипя фонарями. Мне всё кажется, что в такое время петербуржцы ужасно сердиты и грустны, и сердце мое сжимается, вместе с моим фельетоном. Мне всё кажется, что все они с сердитой тоской лениво сидят по домам, кто отводя душу сплетнями, кто праздную день ссорой зуб за зуб с женой, кто смиряясь над казенной бумагой, кто отсыпая ночной преферанс, чтоб прямо проснуться на Новую пульку, кто в сердитом, одиноком угле своем стряпая кухарочный кофе и тут же засыпая под фантастический клокот воды, закипевшей в кофейнике. Кажется мне, что проходим на улице не до праздников и общественных интересов, что там мокнет лишь одна костяная забота, да бородатый мужик, которому, кажется, лучше под дождем, чем под Солнцем, да господин с бобром, вышедший в такое мокрое и студеное время разве только для того, чтоб поместить капитал... Одним словом, нехорошо, господа!..

Теперь, когда уже мы успокоились совершенно насчет неизвестности, в которой находились относительно времени года, и уверились, что у нас не вторая осень, а весна, которая решила наконец перевернуться на лето; теперь, когда первая, изумрудная зелень выманивает мало-помалу петербургского жителя на дачу, до новых грязей, наш Петербург остается пустой, заваливается хламом и мусором, строится, чистится и как будто отдыхает, как будто перестает жить на малое время. Тонкая белая пыль стоит густым слоем в раскаленном воздухе. Толпы работников, с известкой, с лопатами, с молотками, топорами и другими орудиями, распоряжаются на Невском проспекте как у себя дома, словно откупили его, и беда пешеходу, фланеру или наблюдателю, если он не имеет серьезного желания походить на обсыпанного мукою Пьерро в римском карнавале. Уличная жизнь засыпает, актеры берут отпуск в провинцию, литераторы отдыхают, кофейные и магазины пусты... Что остается делать тем из горожан, которых неволя заставляет вековать свое лето в столице? Изучать архитектуру домов, смотреть, как обновляется и строится город? Конечно, занятие важное и даже, право, назидательное. Петербуржец так рассеян зимою, у него столько удовольствий, дела, службы, преферанса, сплетен и разных других развлечений и, кроме того, столько грязи, что вряд ли есть когда ему время осмотреться кругом, взглянуть в Петербург внимательнее, изучить его

физиономию и прочесть историю города и всей нашей эпохи в этой массе камней, в этих великолепных зданиях, дворцах, монументах. Да вряд ли кому придет в голову убить дорогое время на такое вполне невинное и не приносящее дохода занятие. Есть такие петербургские жители, которые не выходили из своего квартала лет по десяти и более и знают хорошо только одну дорогу в свое служебное ведомство. Есть такие, которые не были ни в Эрмитаже, ни в Ботаническом саду, ни в музее, ни даже в Академии художеств; даже, наконец, не ездили по железной дороге. А, между прочим, изучение города, право, не бесполезная вещь. Не помним, когда-то случилось нам прочитать одну французскую книгу, которая вся состояла из взглядов на современное состояние России. Конечно, уже известно, что такое взгляды иностранцев на современное состояние России; как-то упорно не поддаемся мы до сих пор на обмерку нас европейским аршином. Но, несмотря на то, книга пресловутого туриста прочлась всей Европой с жадностью. В ней, между прочим, сказано было, что нет ничего бесхарактернее петербургской архитектуры; что нет в ней ничего особенно поражающего, ничего национального и что весь город — одна смешная карикатура некоторых европейских столиц; что, наконец, Петербург, хоть бы в одном архитектурном отношении, представляет такую странную смесь, что не перестаешь ахать да удивляться на каждом шагу. Греческая архитектура, римская архитектура, византийская архитектура, голландская архитектура, готическая архитектура, архитектура гроссо, новейшая итальянская архитектура, наша православная архитектура — всё это, говорит путешественник, сбито и скомкано в самом забавном виде и, в заключение, ни одного истинно прекрасного здания! Затем наш турист рассыпается в уважении к Москве за Кремль, говорит по случаю Кремля несколько риторических, витиеватых фраз, гордится московскою национальностью, но прокликает дрожжи-пролетки затем, что они удалились от древней, патриархальной линейки, и таким-то образом, говорит он, исчезает в России всё родное и национальное. Смысл выходит тот, что русский стыдится своей народности, затем что не хочет ездить по-прежнему, справедливо опасаясь как-нибудь вытрясти душу в патриархальном своем экипаже.

Это писал француз, то есть человек умный, как почти всякий француз, но верхогляд и исключительный до глупости; не признающий ничего нефранцузского — ни в искусствах, ни в литературе, ни в науках, ни даже в народной истории и, главное, способный рассердиться за то, что есть какой-нибудь другой народ, у которого своя история, своя идея, свой народный характер и свое развитие. Но как ловко, себе неведомо, разумеется,

стакнулся француз с некоторыми, не скажем русскими, но досужными, кабинетными идеями нашими. Да, француз именно видит русскую национальность в том, в чем хотят ее видеть очень многие настоящего времени, то есть в мертвой букве, в отжившей идее, в куче камней, будто бы напоминающих древнюю Русь, и, наконец, в слепом, беззаветном обращении к дремучей, родной старине. Бесспорно, Кремль весьма почтенный памятник давно минувшего времени. Это антикварская редкость, на которую смотришь с особенным любопытством и с большим уважением; но чем он совершенно национален — этого мы не можем понять! Есть такие национальные памятники, которые переживают свое время и перестают быть национальными. Скажут: народ русский знает московский Кремль, он религиозен и стекается со всех точек России лобызать мощи московских чудотворцев. Хорошо, но особенности тут нет никакой; народ толпами ходит молиться в Киев, на Соловецкий остров, на Ладожское озеро, к Афонской горе, в Иерусалим, всюду. А знает ли он историю московских святителей, св<ятых> Петра и Филиппа? Конечно, нет — следственно, не имеет ни малейшего понятия о двух важнейших периодах русской истории. Скажут: народ наш чтит память старинных царей и князей земли русской, погребенных в московском Архангельском соборе. Хорошо. Но кого же знает народ из царей и князей земли русской до Романовых? Он знает трех по имени:

Дмитрия Донского, Иоанна Грозного и Бориса Годунова (прах последнего лежит в С <вято>-Троицкой лавре). Но Бориса Годунова народ знает только потому, что он выстроил «Ивана Великого», а о Дмитрие Донском и Иване Васильевиче наскажет таких диковинок, что хоть бы и не слушать совсем. Редкости Грановитой палаты тоже совсем неизвестны ему, и, вероятно, есть причины такого непонимания своих исторических памятников в русском народе. Но скажут, пожалуй: что же народ? Народ темен и необразован, и укажут на общество, на людей образованных; но и восторг людей образованных к родной старине, и беззаветное стремление к ней всегда казалось нам навеянным, головным, романтическим восторгом, кабинетным восторгом, потому что кто у нас знает историю? Исторические сказки очень известны; но история в настоящее время более чем когда-нибудь самое непопулярное, самое кабинетное дело, удел ученых, которые спорят, обсуживают, сравнивают и не могут до сих пор согласиться в самых основных идеях; ищут ключа к возможному объяснению таких фактов, которые более чем когда-либо стали загадочными. Мы не спорим: никакой русский не может быть равнодушен к истории своего племени, в каком бы виде не представлялась эта история; но требовать, чтобы все забыли и бросили свою

современность для одних почтенных предметов, имеющих антикварное значение, было бы в высочайшей степени несправедливо и нелепо.

Не таков Петербург. Здесь что ни шаг, то видится, слышится и чувствуется современный момент и идея настоящего момента. Пожалуй: в некотором отношении здесь всё хаос, всё смесь; многое может быть пищею карикатуры; но зато всё жизнь и движение. Петербург и глава и сердце России. Мы начали об архитектуре города. Даже вся эта разнохарактерность ее свидетельствует о единстве мысли и единстве движения. Этот ряд зданий голландской архитектуры напоминает время Петра Великого. Это здание в расстреллевском вкусе напоминает екатерининский век, это, в греческом и римском стиле, — позднейшее время, но всё вместе напоминает историю европейской жизни Петербурга и целой России. И до сих пор Петербург в пыли и в мусоре; он еще создается, делается; будущее его еще в идее; но идея эта принадлежит Петру I, она воплощается, растет и укореняется с каждым днем не в одном петербургском болоте, но во всей России, которая вся живет одним Петербургом. Уже все почувствовали на себе силу и благо направления Петрова, и уже все сословия призваны на общее дело воплощения великой мысли его. Следственно, все начинают жить. Всё — промышленность, торговля, науки, литература, образованность, начало и устройство общественной жизни, — всё живет и поддерживается одним Петербургом. Все, кто даже не хочет рассуждать, уже слышат и ощущают новую жизнь и стремятся к новой жизни. И кто же, скажите, обвинит тот народ, который невольно забыл в некоторых отношениях свою старину и почитает и уважает одно современное, то есть тот момент, когда он в первый раз начал жить. Нет, не исчезновение национальности видим мы в современном стремлении, а торжество национальности, которая, кажется, не так-то легко погибает под европейским влиянием, как думают многие. По-нашему, цел и здоров тот народ, который положительно любит свой настоящий момент, тот, в который живет, и он умеет понять его. Такой народ может жить, а жизненности и принципа станет для него на веки веков.

Никогда так много не говорилось о современном направлении, о современной идее и т. п., как теперь, в последнее время. Никогда такого любопытства не возбуждала литература и всякое проявление общественной жизни. Петербургский, зимний, деловой и производящий наиболее сезон кончается только теперь, в настоящий момент, то есть в конце мая. Тут выходят последние книги, кончаются курсы в учебных заведениях, производятся экзамены, наезжают новые жители из провинции, и всякий обдумывает будущую зиму и свою будущую деятельность, каково бы оно ни было, и каким бы образом ни производилось это обдумывание. Более, чем когда-нибудь, вы

убедитесь в общественном внимании к настоящему моменту нашему, если вникнете в последний пережитый Петербургом сезон. Конечно, не скажем, что современная жизнь наша мчится как вихрь, как ураган, так что дух занимается, и страшно и некогда оглянуться назад. Нет, скорее походит на то, что мы еще как будто куда-то собираемся, хлопочем, укладываемся и увязываем разные наши запасы, как это бывает с человеком перед длинной дорогой. Современная мысль не мчится вдаль без оглядки; да она еще и побаивается слишком быстрого ходу. Напротив, она как будто приостановилась в известной середине, дошла до возможного своего рубежа и осматривается, роется кругом себя, сама осязает себя. Почти всякий начинает разбирать, анализировать и свет, и друг друга, и себя самого. Все осматриваются и обмеривают друг друга любопытными взглядами. Наступает какая-то всеобщая исповедь. Люди рассказываются, выписываются, анализируют самих же себя перед светом, часто с болью и муками. Тысячи новых точек зрения открываются уже таким людям, которые никогда и не подозревали иметь на что-нибудь свою точку зрения. Иные думали, что нападки идут от людей безнравственных, беспокойных, даже негодяев, вследствие какой-то затаенной злости и ненависти. Думали, что нападения преследуют только известные классы общества, клеветали, обвиняли, наушничали публике, но теперь рухнуло и это заблуждение; обижаются реже, поняли и взяли в толк, что анализ не щадит и самих анализирующих и что лучше, наконец, знать самих себя, чем сердиться на господ сочинителей, которые всё народ самый смирный и обижать никого не желают. Но всего более было досадно иным господам, до которых, кажется, никому и дела не было, которым неизвестно почему вообразилось, что их задевают, что их вводят в какую-то сомнительную и неприятную историю с публикой; вообще, тут произошло очень много самых темных и до сих пор необъясненных анекдотов, и, право, чрезвычайно было бы интересно составить физиологию господ обижающихся. Это особый, очень любопытный тип. Иные из них кричали из всех сил против всеобщего развращения нравов и забвения приличий, вследствие какого-то особого принципа, состоявшего в том, что пусть, дескать, дело и не про меня, пусть это и про другого кого, но всё равно, зачем же это печатать и зачем это позволять печатать. Другие говорили, что ведь есть же и без того добродетель, что она существует на свете, что существование ее уже подробно изложено и неоспоримо доказано во многих нравственных и назидательных сочинениях, преимущественно в детских книжках, следственно, зачем же об ней беспокоиться, искать ее и только напрасно употреблять ее священное имя всуе. Конечно, подобный господин столько же нуждался в добродетели, как в прошлогодних желудях (к тому же решительно неизвестно, с чего вообразилось ему, что дело идет об ней); но

при первом крике забеспокоился, задвигался этот господин, начал сердиться и претендовать на безнравственность. Глядя на него, другой господин, тоже очень почтенной наружности, живший доселе мирно и тихо, вдруг, ни с того ни с сего, подымался с места, тоже сердился и начинал трубить на всех перекрестках, что он честный человек, что он почтенный человек и что он не позволит себя обижать. Некоторые из подобных господ до того часто повторяли, что они честные и благородные люди, что наконец сами пресерьезно уверялись в непреложности затейливых слов своих и пресерьезно сердились, если как-нибудь подозревали, что почтенное имя их произносится не с таким уважением, как следовало. Наконец, третьему, доброму и даже рассудительному пожилому человеку вдруг начинали трубить в оба уха, что всё то, что он чтит до сих пор за самую высокую добродетель и мораль, как-то вдруг сделалось и не добродетелью, и не моралью, а чем-то другим, только отнюдь не хорошим, и что сделали всё это вот такие-то и такие-то люди. Одним словом, многим, очень многим, сделалось чрезвычайно досадно; ударили тревогу, поднялись, затрубили, засуетились, закричали и наконец до того дошли, что самым совестно стало своего же крика. Теперь это случается реже...

Появление нескольких благотворительных и ученых обществ, образовавшихся в последнее время, сильная деятельность в литературном и ученом мире, появление нескольких новых, замечательнейших имен в науке и литературе, нескольких новых изданий и журналов, сильно завлекало и привлекает внимание всей публики и находит в ней полное сочувствие. Ничего не будет несправедливее упреков в бесплодности и в бездействии нашей литературы за прошлый сезон. Несколько новых повестей и романов, появившихся в разных периодических изданиях, увенчались полным успехом. Появилось в журналах несколько замечательных статей, преимущественно по части ученой и литературной критики, русской истории и статистики, явилось несколько отдельно изданных исторических и статистических книг и брошюр. Осуществилось издание русских классиков Смирдина, которое увенчалось самым полным успехом и будет продолжаться безостановочно. Появилось полное собрание сочинений Крылова. Число подписчиков на журналы, газеты и Другие издания увеличилось в огромных размерах, и потребность чтения начала распространяться уже по всем сословиям. Карандаш и резец художников тоже не оставались праздными; прекрасное предприятие господ Бернадского и Агина — иллюстрация «Мертвых душ» — приближается к концу, и нельзя достаточно нахвалиться добросовестностью обоих художников. Некоторые из политапажей окончены превосходно, так что лучшего трудно желать. М. Невахович, покамест единственный наш

карикатурист, безостановочно и неумолимо продолжает свой «Ералаш». С самого начала новость и невидаль такого издания сильно завлекли всеобщее любопытство. Действительно, трудно себе представить более удобное время, как теперь, для появления карикатуриста-художника

. Идей много, и выработанных и прожитых обществом; ломать головы над сюжетами нечего, хотя мы часто слышали: да об чем бы, кажется, говорить и писать? Но чем более таланта в художнике, тем богаче он средствами провести свою мысль в общество. Для него не существует ни преград, ни обыкновенных затруднений, для него сюжетов тьма, всегда и везде, и в этом же веке художник может найти себе пищу где ни пожелает и говорить обо всем. К тому же у всех потребность как-нибудь высказаться, у всех потребность подхватить и принять к сведению высказанное... Мы подробнее поговорим в другой раз о карикатурах г-на Неваховича... Предмет важнее, чем кажется с первого взгляда.

Июнь месяц, жара, город пуст; все на даче и живут впечатлениями, наслаждаются природою. Есть что-то неизъяснимо наивное, даже что-то трогательное в нашей петербургской природе, когда она, как будто неожиданно, вдруг, выкажет всю мощь свою, все свои силы, оденется зеленью, опустится, разрядится, упестрится цветами... Не знаю, отчего напоминает мне она ту девушку, чахлую и хворую, на которую вы смотрите иногда с сожалением, иногда с какою-то сострадательною любовью, иногда просто не замечаете ее, но которая вдруг, на один миг и как-то нечаянно, делается чудно, неизъяснимо прекрасною, и вы, изумленный, пораженный, невольно спрашиваете себя: какая сила заставила блистать таким огнем эти всегда грустно-задумчивые глаза, что привлекло кровь на эти бледные щеки, что облило страстью и стремлением эти нежные черты лица, отчего так вздымается эта грудь, что так внезапно вызвало силу, жизненность и красоту на лицо этой женщины, заставило блистать его такой улыбкой, оживиться таким сверкающим, искрометным смехом? Вы смотрите кругом себя, вы чего-то ищете, вы догадываетесь... Но миг проходит, и, может быть, на завтра же встретите вы опять тот же грустно-задумчивый и рассеянный взгляд, то же бледное лицо, ту же всегдашнюю покорность и робость в движениях, утомление, бессилие, глухую тоску и даже следы какой-то бесполезной, мертвящей досады за минутное увлечение. Но к чему сравнения! И захочет ли кто их теперь? Мы переехали на дачи, чтоб пожить непосредственно, созерцательно, без сравнений и взглядов, насладиться природой, отдохнуть, полениться вдоволь и оставить кой-какой ненужный и хлопотливый житейский вздор и хлам на зимних квартирах, до более удобного времени.

Есть у меня, впрочем, приятель, который на днях уверял, что мы и поленимся-то не умеем как следует, что ленимся мы тяжело, без наслаждения, с беспокойством, что отдых наш какой-то лихорадочный, тревожный, угрюмый и недовольный, что в то же время у нас и анализ, и сравнение, и скептический взгляд, и задняя мысль, а на руках всегда какое-нибудь вечное, нескончаемое, неотвязное житейское дело; что мы, наконец, собираемся на лень и на отдых, как на какое-то тугое и строгое дело, что мы если, например, захотим насладиться природою, то как будто с прошлой недели, в календаре своем наметили, что в такой-то день и в такой-то час мы будем наслаждаться природою. Это очень напоминает того аккуратного немца, который, выезжая из Берлина, преспокойно заметил в дорожной книжке своей: «В проезд через город Нюремберг, не забыть жениться». У немца, конечно, прежде всего была в голове какая-нибудь система, и он не почувствовал безобразия факта, из благодарности к ней; но действительно нельзя не сознаться, что и системы-то в наших поступках иногда никакой не бывает, а так как-то делается, точно по какому-то предопределению восточному. Приятель отчасти и прав; мы как будто тянем наш жизненный гуж через силу, с хлопотливым трудом, по обязанности, и стыдимся только сознаться, что не в мочь и устали. Будто и вправду переехали мы на дачи, чтоб отдыхать и наслаждаться природою? Посмотрите-ка прежде, чего-чего не вывезли мы с собой за заставу. Мало того, что не отставили, хоть за выслугу лет, ничего зимнего, старенького — напротив, пополнили новым, живем воспоминаньями, и старая сплетня, старое житейское дельцо идет за новое. Иначе скучно, иначе придется испытать, каков преферанс при пенье соловья и под открытым небом, что, впрочем, и делается. Кроме того, мы отчасти и не устроены так, чтоб наслаждаться природою, да к тому же и природа-то наша, как будто зная нашу натуру, позабыла устроиться к лучшему. Отчего, например, в нас так сильно развит один пренеприятный обычай (не спорим, он, может быть, там как-нибудь и полезен в нашем общем хозяйстве) — всегда, часто без нужды, так, по привычке поверять и уже слишком точно взвешивать свои впечатления, взвешивать иногда только предстоящее, грядущее наслаждение, еще не осуществившееся, оценивать его и удовлетворяться им заранее, в мечтах, удовлетворяться фантазией и, естественно, быть потом негодным в настоящее дело? Мы всегда разомнем, истерзаем цветок, чтоб сильнее почувствовать его запах, и ропщем потом, когда вместо аромата достается нам один чад. А между тем трудно сказать, что бы случилось с нами, если б не выдавались нам хоть эти несколько дней в целый год и не утоляли разнообразием явлений природы нашу вечную ненасытимую жажду непосредственной, естественной жизни. И как не устать наконец, как не упасть в бессилии, вечно гоняясь за впечатлениями, словно за

рифмой к плохому стиху, мучась жаждою внешней, непосредственной деятельности и пугаясь, наконец, до болезни своих же иллюзий, своих же химер головных, своей же мечтательности и всех тех вспомогательных средств, которыми в наше время стараются кое-как дополнить всю вялую пустоту обыденной бесцветной жизни.

А жажда деятельности доходит у нас до какого-то лихорадочного, неудержимого нетерпения: все хотят серьезного занятия, многие с жарким желанием сделать добро, принести пользу и начинают уже мало-помалу понимать, что счастье не в том, чтоб иметь социальную возможность сидеть сложа руки и разве для разнообразия побогатырствовать, коль выпадает случай, а в вечной неутомимой деятельности и в развитии на практике всех наших наклонностей и способностей. А много ли, например, у нас занятых делом, как говорится, *con amore*, с охотою. Говорят, что мы, русские, как-то от природы ленивы и любим сторониться от дела, а навяжи его нам, так сделаем так, что и на дело не будет похоже. Полно, правда ли? И по каким опытам оправдывается это незавидное национальное свойство наше? Вообще у нас с недавнего времени что-то слишком кричат на всеобщую лень, на бездействие, очень друг друга поталкивают на лучшую полезную деятельность, и, признаться, только поталкивают. И таким образом, ни за что ни про что готовы обвинить своего же собрата, может быть, и потому только, что он не очень кусается, как уже заметил раз Гоголь. Но попробуйте сами ступить первый шаг, господа, на лучшую и полезную деятельность, и представьте ее нам хоть в какой-нибудь форме; покажите нам дело, а главное, заинтересуйте нас к этому делу, дайте нам сделать его самим и пустите в ход наше собственное индивидуальное творчество. Способны вы сделать это или нет, господа понукатели? Нет, так и обвинять нечего, только напрасно слово терять! То-то и есть, что у нас дело всегда как-то само собою приходит, что у нас оно как-то внешне, и не отзывается особым сочувствием в нас и тут-то проявляется уже чисто русская способность: дело через силу сделать дурно, несовестливо и, как говорится, опуститься совсем. Это свойство ярко рисует наш национальный обычай и проявляется во всем, даже в самых незначущих фактах общежития. У нас, например, коль нет средств зажить в палатах по-барски или одеться как следует порядочным людям, одеться

как все

(то есть как очень немногие), то наш угол и зачастую похож на хлев, а одежда доведена даже до неприличного цинизма. Коль неудовлетворен человек, коль нет средств ему высказаться и проявить то, что получше в нем (не из самолюбия, а вследствие самой естественной необходимости человеческой сознать, осуществить и обусловить свое Я в действительной жизни), то сейчас же и впадает он в какое-нибудь самое невероятное событие; то, с позволения сказать, сопьется, то пустится в картеж и шулерство, то в бретерство, то, наконец, с ума сойдет от амбиции,

в то же самое время вполне про себя презирая амбицию и даже страдая тем, что пришлось страдать из-за таких пустяков, как амбиция. И смотришь — невольно дойдешь до заключения почти несправедливого, даже обидного, но очень

кажущегося вероятным,

что в нас мало сознания собственного достоинства; что в нас мало необходимого эгоизма и что мы, наконец, не привыкли делать доброе дело без всякой награды. Дайте, например, какое-нибудь дело аккуратному, систематическому немцу, дело, противное всем его стремлениям и наклонностям, и растолкуйте только ему, что эта деятельность выведет его на дорогу, прокормит, например, и его и семейство его, выведет в люди, доведет до желаемой цели и т. д., и немец тотчас примется за дело, даже беспрекословно окончит его, даже введет какую-нибудь особенную, новую систему в свое занятие. Но хорошо ли это? Отчасти и нет; потому что в этом случае человек доходит до другой, ужасающей крайности, до флегматической неподвижности, иногда совершенно исключаящей человека и включающей на место его систему, обязанность, формулу и безусловное поклонение дедовскому обычаю, хотя бы дедовский обычай был и не в мерку настоящему веку. Реформа Петра Великого, создавшая на Руси свободную деятельность, была бы невозможна с таким элементом в народном характере, элементом, принимающим часто форму наивно-прекрасную, но иногда чрезвычайно комическую. Видали, что немец до пятидесяти лет сидит в женихах, учит детей у русских помещиков, сколачивает кое-какую копейку и так совокупляется наконец законным браком с своей пересохшей от долгого девчества, но геройски верной Минхен. Русский не выдержит, уж он скорее разлюбит или опустится,

или сделает что-нибудь другое — и здесь можно довольно верно сказать наоборот известной пословице: что немцу здорово, то русскому смерть. А

много ли нас, русских, имеют средства делать свое дело с любовью, как следует; потому что всякое дело требует охоты, требует любви в деятеле, требует всего человека. Многие ли, наконец, нашли свою деятельность? А иная деятельность еще требует предварительных средств, обеспечения, а к иному делу человек и не склонен — махнул рукой, и, смотришь, дело повалилось из рук. Тогда в характерах, жадных деятельности, жадных непосредственной жизни, жадных действительности, но слабых, женственных, нежных, мало-помалу зарождается то, что называют мечтательностью, и человек делается наконец не человеком, а каким-то странным существом среднего рода — мечтателем.

А знаете ли, что такое мечтатель, господа? Это кошмар петербургский, это олицетворенный грех, это трагедия, безмолвная, таинственная, угрюмая, дикая, со всеми неистовыми ужасами, со всеми катастрофами, перипетиями, завязками и развязками, — и мы говорим это вовсе не в шутку. Вы иногда встречаете человека рассеянного, с неопределенно-тусклым взглядом, часто с бледным, измятым лицом, всегда как будто занятого чем-то ужасно тягостным, каким-то головоломнейшим делом, иногда измученного, утомленного как будто от тяжких трудов, но в сущности не производящего ровно ничего, — таков бывает мечтатель снаружи. Мечтатель всегда тяжел, потому что неровен до крайности: то слишком весел, то слишком угрюм, то грубиян, то внимателен и нежен, то эгоист, то способен к благороднейшим чувствам. В службе эти господа решительно не годятся и хоть и служат, но все-таки ни к чему не способны и только тянут

дело свое, которое, в сущности, почти хуже безделья. Они чувствуют глубокое отвращение от всякой формальности и, несмотря на то, — собственно потому, что смирны, незлобивы и боятся, чтобы их не затронули, — сами первые формалисты. Но дома они совсем в другом виде. Селятся они большею частью в глубоком уединении, по неприступным углам, как будто таясь в них от людей и от света, и вообще, даже что-то мелодраматическое кидается в глаза при первом взгляде на них. Они угрюмы и неразговорчивы с домашними, углублены в себя, но очень любят всё ленивое, легкое, созерцательное, всё действующее нежно на чувство или возбуждающее ощущения. Они любят читать, и читать всякие книги, даже серьезные, специальные, но обыкновенно со второй, третьей страницы бросают чтение, ибо удовлетворились вполне. Фантазия их, подвижная, летучая, легкая, уже возбуждена, впечатление настроено, и целый мечтательный мир, с радостями, с горестями, с адом и раем, с пленительнейшими женщинами, с геройскими подвигами, с благородною деятельностью, всегда с какой-нибудь гигантской борьбою, с

преступлениями и всякими ужасами, вдруг овладевает всем бытием мечтателя. Комната исчезает, пространство тоже, время останавливается или летит так быстро, что час идет за минуту. Иногда целые ночи проходят незаметно в неописанных наслаждениях; часто в несколько часов переживается рай любви или целая жизнь громадная, гигантская, неслыханная, чудная как сон, грандиозно-прекрасная. По какому-то неведомому произволу ускоряется пульс, брызжут слезы, горят лихорадочным огнем бледные, увлажненные щеки и когда заря блеснет своим розовым светом в окошко мечтателя, он бледен, болен, истерзан и счастлив. Он бросается на постель почти без памяти и, засыпая, еще долго слышит болезненно-приятное, физическое ощущение в сердце... Минуты отрезвления ужасны; несчастный их не выносит и немедленно принимает свой яд в новых увеличенных дозах. Опять-таки книга, музыкальный мотив, какое-нибудь воспоминание давнишнее, старое, из действительной жизни, одним словом, одна из тысяч причин, самых ничтожных, и яд готов, и снова фантазия ярко, роскошно раскидывается по узорчатой и прихотливой канве тихого, таинственного мечтания. На улице ходит повесив голову, мало обращая внимания на окружающих, иногда и тут совершенно забывая действительность, но если заметит что, то самая обыкновенная житейская мелочь, самое пустое, обыденное дело немедленно принимает в нем колорит фантастический. Уж у него и взгляд так настроен, чтоб видеть во всем фантастическое. Затворенные ставни среди белого дня, исковерканная старуха, господин, идущий навстречу, размахивающий руками и рассуждающий вслух про себя, каких, между прочим, так много встречается, семейная картина в окне бедного деревянного домика — всё это уже почти приключения.

Воображение настроено; тотчас рождается целая история, повесть, роман... Нередко же действительность производит впечатление тяжелое, враждебное на сердце мечтателя, и он спешит забиться в свой заветный, золотой уголок, который на самом деле часто запылен, неопрятен, беспорядочен, грязен. Мало-помалу проказник наш начинает чуждаться толпы, чуждаться общих интересов, и постепенно, неприметно, начинает в нем притупляться талант действительной жизни. Ему естественно начинает казаться, что наслаждения, доставляемые его своевольной фантазией, полнее, роскошнее, любовнее настоящей жизни. Наконец, в заблуждении своем он совершенно теряет то нравственное чутье, которым человек способен оценить всю красоту настоящего, он сбивается, теряется, упускает моменты действительного счастья и, в апатии, лениво складывает руки и не хочет знать, что жизнь человеческая есть непрерывное самосозерцание в природе и в насущной

действительности. Бывают мечтатели, которые даже справляют годовщину своим фантастическим ощущениям. Они часто замечают числа месяцев, когда были особенно счастливы и когда их фантазия играла наиболее приятнейшим образом, и если бродили тогда в такой-то улице или читали такую-то книгу, видели такую-то женщину, то уж непременно стараются повторить то же самое и в годовщину своих впечатлений, копируя и припоминая малейшие обстоятельства своего гнилого, бессильного счастья. И не трагедия такая жизнь! Не грех и не ужас! Не карикатура! И не все мы более или менее мечтатели!.. Дачная жизнь, полная внешних впечатлений, природа, движение, солнце, зелень и женщины, которые летом так хороши и добры, — всё это чрезвычайно полезно для больного, странного и угрюмого Петербурга, в котором так скоро гибнет молодость, так скоро вянут надежды, так скоро портится здоровье и так скоро перерабатывается весь человек. Солнце у нас такой редкий гость, зелень такая драгоценность, и так усидчиво привыкли мы к нашим зимним углам, что новость обычаев, перемена места и жизни не могут не действовать на нас самым благодетельным образом. Город же так пышен и пуст! хотя иным чудакам он нравится летом более, чем во всякое время. К тому же наше бедное лето так коротко; не заметишь, как зажелтеют листья, отцветут последние редкие цветы, пойдет сырость, туман, настанет опять нездоровая осень, затолчется по-прежнему жизнь... Неприятная перспектива — по крайней мере теперь.

тиран поневоле
(лат.).

Гоголь.